





ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ
О СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ И ЗАГАДОЧНОМ

ПОТУСТОРОННЕЕ



ОНО СУЩЕСТВУЕТ

БУДЬ МОЕЙ СЕСТРОЙ



Москва
Издательство АСТ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б90

Серийное оформление,
иллюстрация на обложке: *Диана Бигаева*

Б90 **Будь моей сестрой:** [рассказы] / [Д. Костриевич, Г. Шендеров, А. Провоторов и др.] — Москва: Издательство АСТ, 2024.— 352 с.— (Потустороннее).

ISBN 978-5-17-160301-4

Блестящая коллекция завораживающих историй — темных и светлых — о столкновении с необъяснимым.

Иные реальности. Ожившие тени прошлого и способность заглянуть в будущее. Демоны, героини древних легенд, призраки. Непознанные уголки человеческого разума, которые таят в себе угрозу — или надежду. Бессмертие и то, что лежит за пределами жизни и смерти.

Можно не верить.

А оно существует.

В сборник вошли лучшие рассказы от современных отечественных писателей — мастеров жанров мистики, магического реализма и хоррора.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-160301-4

© Авторы, текст, 2023
© Д. Бигаева, обложка, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024



Ольга Апреликова

ЧЁРТУ КОЧЕРГА

Гуляла Орька по облаку в ласковом небе, а на облаке в траве-мураве земляника росла, и черника, и малина. Только страшно: а ну-ко зацепится облако за гору или за высокую елку — растает, и посыплются ягоды и травы вниз по склону, превратятся в дедовы самоцветы, в батину золоту крупку, в хризолиты да изумруды, поди-ко собери по речным отмелям да по ущельям под елками... Дак, мож, и собирать-то не надо... Пусть бы так лежало в земле, как лежало, батю б не забрали... Орька открыла глаза и уставилась в сучковатые доски близкого потолка. На полатях всегда кажется, что тебя уж крышкой накрыли, неба-то боле не увидишь.

Зашебуршало, вспорхнуло. И тут же тюкнулось в окошко. Орька вскинула голову: птеник! Сидит внизу на раме, прижался к стеклу, только клюв в голубой солнечной щели меж занавесок торчит.

Раньше занавески были вышиты, с васильками да лошадами, но, как батю за золото арестовали, мать сняла. Она и так-то мала-

хольна была, а теперь чуть что — икочет¹. Орька прижала ладони ко рту. Сама-то она... Как жить-то дальше? Никогда уж по-людски не будет? Вон пестерь у холодной печки опрокинутый, репки вывалились — видать, накатила пошибка, мать и выскочила, дверь не притворивши, птенчик со двора дак и залетел... А что мать. Не виновата. Пошибка у нее. Кержачка дак. И бабка была с пошибкой, знаткая. У православных нету, а кержачье кержачкам и садит. Бабка говорила, в туесках держат их, пошибок-то, и садят. При смерти-то сразу в кого, вот как бабка свою пошибку в Орьку. А так-то разводят их да на ворота, и пошибка месяцами сидит, выбирает. С оглядкой надо ходить. Бабка уж знала!

Орька крепче зажала себе рот. Мать не знает, что Орька уж тоже с пошибкой. Та молчит покамест. Спеет. Мож, лет семь молчать будет. Затаилась. А и хорошо. Что мать пугать, ей и так тошно. Без мужика жить-то как? Голодно. Хризолиты да золоту крупу Орька забыла, когда сыта была...

Ой, нет. Пряник-то! От бабки мать все железо прятала, даже ложки, дак та гвоздок из стенки вышатала и в пряник воткнула. Пряник медовый — да каменный, видать, бабка на смертный случай давненько припасла. Подманила Орьку, сунула в руки и маячит, мол,

¹ Заинтересованный читатель может узнать больше из книги «Одержимость в русской деревне» О. Б. Христофорова (именно про кержачское Верхокамье).

кушай, золотко. А у самой уж ногти сини. Орька на умах, что не железо ведь, взяла. И спряталась в пустой, все еще пахнувшей коровой Малинкой стайке, чтоб мать не отобрала, мало ли. С молоком бы пряник-то, да коров уж когда у всех свели. Точила-точила пряник, как белка, шалея от сладости, а потом об гвоздь чуть зуб не сломала... Пошибка! Страшно так-то... Поревела маленько. Пряник все ж доточила, кто ж пряниками такими разбрасывается. Сытая до вечера была. Потом все ждала, когда пошибка голос подаст. Не, тихо. Только пузцо урчало. Неужто правда быть Орьке икоткой? Так ли страшно-то? Бабка ведь прожила... Она Орьке плохого не хотела!

Вчера бабку похоронили, и дед как заочеченел. Мать на могиле билась, иктала, а потом по избе ходила как деревянная... На поминки никто не пришел. Семья врагов народа дак. Мать много и не хлопотала, кутья да десяток ржаных блинков. Орька поела и в угол к деду забилась. Дедо потерпел ее, потом ладонь на голову положил:

— Иди к матери-то, приласкайся. А как бы чего...

Теперь уж утро... Солнце уж давно... А! Птенчик-то!

— Дедо, дедо, птенчик!

Дед ворохнулся за печкой. Нутро от рудничной пыли спеклось — так он спал в углу сидя, чтоб хоть духу хватало. Ждал, когда Господь приборет. Раньше он все молился, теперь молчит: сказано, дак, что в последние

времена моление ваше будет в грех. И то, неча Господу надоедать. Вона че творится, до нас ли Ему?

На кого тогда надеяться? Орька не заревела, укрепилась; соскочила с полатей и к окну. За окном в небо елки пиками воткнулись, больно небу небось... Птенец сам буренький, бесхвостый еще, на перушках полоски рыженьки, клюв раскрыл, а вокруг клюва желтенько. Орька сцапала его, понесла деду — горячий какой! Лапки колючи и клюв! Пусть-ко дедо подержит, может, боле не приведется.

— Поздний слёток-те, плохо...

Дед принял птенца в костлявы горсти, прищурился — а птенчик выкрутился, порскнул, тюкнулся в мутное, еще добавкино, зеркало и упал за сундук.

Дед уронил тяжелы ладони. Закрыв глаза: — Заосеняло уж, а он, дурень... Холода-то...

Орька высмотрела птенчика в темноте за сундуком: облип паутиной и сидит. Еле руки хватило достать. Обобрала паутину, поднесла к окошку, толкнула локтем створки, вынесла птенца в солнечный холодок — порх! Полетел! Шустрый. Только след горячего в ладошках остался. Неужто остынет? Что-то опять глаза взмокли. Она пошарила взглядом по избе, чтоб отвлечься: а, календарь! Оторвала вчерашний листок, потрогала новый, шепча про себя: «Тридцать первое августа одна тысяча девятьсот тридцать девятого года». И грибы нарисованы, боровики. Сентябрь вон уж завтра, в школу запрут на полдня, дак

не набегаться в лес-то! Ну-ко, ведь за грибами бечь надо! Мурзу взять, пусть старичок порадует, помышкует, и в лес, на увалы. Грибов тьма нонече, да все чистехоньки, как игрушки. Вчерашни-то уж поди подсохли на печке? А дедо сказал-то, столько грибов дак к войне?

Из распадка долетел знакомый глухой шум бредущей толпы и окрики конвоя, и тут же залились по всем оградям псы, даже Мурза во дворе бухнул, заворчал — к деревне снизу, от Вишеры, поднимался этап.

К холодам кобель запаршивел, перестал болтушку есть — будто понимал, что им и самим мало. Мать сняла с него ошейник, забросила с цепью за конуру. Налила ключевой воды в шайку, обтерла тряпкой седую морду от дряни, сочащейся из пустого — медведь вынул — глаза, положила ладонь на холку:

— Спасибо тебе, Мурзушка, за службу. Прости, если что.

Мурза разок стукнул по земле хвостом. Попил. Потом встал, шатаясь, и окостенело побрел в огород и дальше, к лесу, к черным, мокрым увалам. Скрылся в бурьяне, потом черно-белым пятнышком мелькнул на опушке — и сгинул.

Дедо говорил, все стары звери на зверино кладбище уходят, в глушь. Рыси, козлушки, волки, барсуки — все. И не трогает никто никого, один всем конец дак. Дойдут, полежат, солнышка ласкового дождутся, глаза закроют и умрут... И собаки тоже...

— Оййй!.. Вот-вот-вот... Вот-вот-вот...

Это мать заикотала, заоткала. Побелела, повалилась у дровяника, заколотилась. Пошибка напала. Орька плеснула на нее из дождевой бочки — очнулась. Шатко опираясь, села, прислонилась спиной к дровянику, обтирая лицо. Орька присела под бок. Мать положила на нее сверху руку, притиснула к себе. Ничего не сказала, только все вытирала и вытирала лицо. Кой толк от пошибки, если так мучиться? Дак бабка-то ведь не выла, как пошибка накатит. Голосом мужичьим смеялась только... На опилках, на стружках тепло, как на перине. Дровами ольховыми густо пахнет... Нюра, соседка, посмотрела через прясло со своего крыльца, поджала губы, перекрестилась, сплюнула. Орька выкинула в ее сторону кукиш — Нюра шатнулась, побелела, бросилась в избу и захлопнула дверь. Выкрикнула в форточку:

— От ведь тоже черту кочерга растет!

Дедо помер на Покров, когда увалы над лесом припорошило серым снегом. Он так и целился, мол, скорейче, чтоб земля не промерзла, а то как вам копать-то, мужиков нету. А и то: батю заарестовали в мае на прииске, брата Наума еще о прошлом годе в армию увели. Это Наум ее Орькой прозвал, мол, орет и спать не дает, а так-то она Марья. Никто про Марью не поминал, все Орька да Орька. Хотя и так звать некому, никто дак не говорит с ними. Ни соседи, ни родня. В школе-то все

Кержакова да Кержакова. А кто, поди пойми, полдеревни Кержаковых дак. Ребята в школе, как из пионеров выгнали, ее как не видят, Орька одна сидит, как прокляенная. А мать одно говорит, ходи, не то хуже будет.

Чего уж хуже. Всея деревней боятся. То ежедень к бабке бегали, кто с чирьем, кто с порчей, та же Нюрка, а ноне все мимо, хоть мать тоже в травах знат. Мол, враги народа, раз бату забрали. А что батя? Сроду чужого не брал, а золота тем боле... Вон оно, золото, иди копай по ущельям, бейся с кайлом да смывкой по ручьям... Только знай где. Батя знал. Дедо рудознатец, прииск-то, где батя сгиб, его открытия. А мало ли еще по горам золота? Приисково, казенно бате — на что? Да и свое, что дедом да им самим нарыто,— на что? Припрятано так-то, да толку. Орька и не знала где. В горах где-то. Наум, наверно, знат. Ну! Даже не поминать про нещечко это. А то и брата Наума уведут... Следят же вон за матерью, куда пойдет... А она дальше работы — полы в правленье мыть — уж и не ходит. Узнать бы, кто бату упек, да засадить в брюхо таку пошибку, чтоб ядовита! И колюча, как еж... Где их берут, пошибок-то? Как разводить? В туеске? А и то подумать, на всех, кто мимо ходит да глаза прячет, не то что пошибок, туесков-то не напасешься...

Вон и дядья, материны братья, даж могилу не пошли копать, мол, чужой им дед-то, отец врага народа. Орька с матерью сами колотились, а дед один в нетопленной избе лежал

белый день и черну ночь, и некому над ним было свечки жечь и молитвы читать. На погосте вместо свечки костерок только над яминой: одна греется, другая копает... Как над увалами засинело, управились. Неглубоко, но мать сказала хватит... Домой пришли, уж рассветло — изба ровно молоком залита ледяным, половицы блестят. А уж в избе побывали, эти, поминальщики-то. Искали. И покойника не посторожились. Не нашли — да и не найти им сроду, тупорылым, кто ж в избе нещечко прячет,— дак сундук разорили, узел со смертной рубахой дедовой утащили, чугунок убавили с припечка и с полки рюмочку голубого стекла, одно у них в избе была рюмочка из красивого. Мать оглядела разор, села у двери, как захожа нищенка, зажала шею земляными руками, закачалась:

— Ойййй... Вот-вот-вот... Вот-вот-вот...

Опять. Сама не остановится, пока об пол не брякнется. Орька привычно черпанула из ушата и маленько плеснула матери в лицо. Та взвизгнула подшибленной сукой. Потом как проснулась. Обвела избу будто чужим взглядом, усмехнулась, встала и принялась деда собирать. И все молчком.

Даже половики новы из сундука схитили, так пришлось деда в стары, стираны зашить. Домовину-то им где самим сладить. На санки перевалили да повезли мимо черных изб да слепых окон. Переплеты оконны как кресты.

Посыпался снег. На крыши, на черны елки, на голы осины. На горы. Таял, санки скребли

по камням и шлаку дороги. Мимо домов, мимо правления, мимо битых кирпичей разоренного рудоплавильного заводишка, мимо плотины, мимо серого льда пруда. Только горы стояли вокруг недвижно.

На околице встали, стащили санки с дедой с дороги — из распадка глухо шумящей черной колонной поднимался этап, надо пропустить. Ну, хоть передохнуть. Орька бросила веревку, прижалась к матери. Сил нет. Мать тоже едва стоит, обняла Орьку, а руки падают. Убилась уже. Платок сполз. Орька поправила ей, как на мертвой. Ну! Дотащим... Дедо хоть и высох, ведь не ел ниче, а тяжелый костяком-то... И крест тяжелый. Придавил деда. Хорошо хоть, крест из лиственницы дед себе да бабке сам сладил, еще когда в силе был, кресты на чердаке все дожидались... Бледно-желтый крест, нарядно на сером половике-то...

А этап весь черный: шапки, ватники. Изредка кто голову поднимет, и бело лицо мелькнет с черными провалами глаз. Жутко так-то. Орька уткнулась матери в бок. Мать крепче обняла ее, выпрямилась. Орька знала — шарит глазами по черным шапкам и спинам, бату высматривает — мало ли... Хрип, кашель, мат, шаги; шорох и скрип шлака; смрадный пар над толпой. Конвой с винтовками на конях, один мимо совсем близко проехал, будто их нет, чиркнул Орьку стремянем по плечу. Ну хоть не сшиб... И вдруг что-то в шуме этапа изменилось. Только шаги, шарканье, шорох да стук копыт. Ни кашля, ни мата. Орька оторвалась от

матери: этап весь до единого мужика смотрел на них: всё серые, карие, синие...

Мать застудилась на кладбище, кашляла. В конце ноября объявили войну Финляндии, и почти сразу про Наума из Ленинграда пришло письмо: «Защищая Родину, пропал без вести в районе поселка Валкосаари», и мать полдня билась, иктала, как ни лей воду, ночь пролежала как мертвая, а утром не встала. Горяча как печка. Председательша приходила, натоптала бурками по чистому полу, сказала: «Прогулы ей, а не белютень, дармоедке! И за лето вон на намывке ниче не заработала! Пропал без вести? А ну как белофиннам проклятым предался, семья-то у вас вона кака вражеска! И тебя вон в школе из пионеров выгнали, гадюку белоглазую! А в школу ходить не будешь если, на учет тебя!» Бурки у нее были богаты, как у Папанина из газеты. А в глазках отливало голубым, стеклянным. Что такое «на учет»? Заберут?

Страшно. Да как от матери отойти? Орьяка запаривала ей бабкины травки с чердака, и в избе пахло сенокосом. Мать несла не знам что, иктала, да Орьяка привыкла. Не давала ей головой об стену биться, зашпаривала максамосейку, поила. Мать хоть спала. Похныкивала во сне изредка, как девочка... «Пропал без вести» — это ведь не погиб? Может, еще вернется из этого Валкосаари? Где хоть тако? Разве там — Родина? Там это... Территории бывши фински. Поискать бы там Наума.

Мать все спала и спала. Опять долго тянулось по соседней улице этап, лаяли псы в оградах. Стихло, только синий снег шуршал по стеклам. Вдруг стукнул почтальон Тит в окно, сунул в дверях казенный конверт и сгинул в метели. Второй раз уж так-то. Орька, придерживая рукой там, где сердце больно тукало изнутри, пошла к печке, разглядела конверт со страшной печатью «Соликамский ИТЛ», распечатала — про бату. Помер. Сердечная недостаточность. Сама не знам как, Орька скомкала письмо и швырнула в печку — пых, и не было письма! Не было! Мать не узнат!

В сумерках с тоски запалила Орька лучинку, воткнула в бабкин светец. Бабка говорила, что ей ее бабка говорила, что светец-то еще прабабкин, тоже кержачки. Это сколько ж бабок получается? Орька как-то, когда еще все хорошо было, считала на пальцах, но сбилась. Темно в избе, только окна синеют; лучинка тлеет красненьким, коптит. Мать тяжело, как дедо, дышит, хрипит... Душно, да как дверь открыть-то, разом избу выстудишь, а только топила. Дров-то всего ничего... Про бату не думать, не было письма, не было! А про брата Наума — было... Он-то не помер, он пропал...

Сон приснился. Будто идет Орька по снегу в страшной стране КаУР¹, как по облаку, не проваливается, через вымороженный, в инее, сосновый бор, а из снега, куда ни глянь, валуны

¹ Карельский укрепрайон.